

А.С. АЛЕХНОВИЧ

ВЛАСТЬ И СТРАХ: БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ

***Аннотация:** Статья посвящена исследованию отношения власти и страха в контексте современной политики безопасности. Испытывая кризис общественного доверия, система власти трансформируется от политической формы организации общества к технократическому способу социального управления. В отличие от политической власти, действующей в публичном пространстве согласования интересов и обсуждения общественных проблем, технократия основана на экспертной системе технологического регулирования социальных процессов, при которой декларируется рациональная прагматика, очищенная от политической борьбы, и провозглашается, что правом участвовать в принятии решений обладают только компетентные специалисты.*

В указанном процессе трансформации активную роль играет феномен страха, который присутствует как в техниках управления, используемых властью, так и в защитных практиках, разворачивающихся в управляемых сообществах, что определяет проблему легитимности государственной системы управления. Объектом политического страха является угроза применения систематического насилия, появляющегося из деперсонализированной структуры власти, которая отчуждается от своего общественного источника, что осложняет ее стабильное воспроизводство и функционирование.

Технократическая власть объявляет своей ценностью безопасность при администрировании жизненного мира индивидов, которые все более становятся деполитизированными объектам колонизации со стороны государства, использующего биополитические методы управления. Автор делает вывод, что отчуждение власти и сопутствующий ему страх обусловлены противоречиями между политическими целями, направленными на социальное благополучие и гражданское равенство, и технократическими средствами, замыкающимися на собственных критериях эффективности.

Abstract: *The article is devoted to the study of the relationship between power and fear in the context of modern security policy. Experiencing a crisis of public trust, the power system is being transformed from a political form of organization of society to a technocratic method of social management. In contrast to the traditional politics operating in the public space of reconciling interests and discussing social problems, technocracy is based on an expert system of technological regulation of social processes, in which rational pragmatics are declared, cleansed of political struggle, and it is proclaimed that only competent people have the right to participate in decision-making.*

In this transformation process, the phenomenon of fear plays an active role, which is present both in the management techniques used by the authorities and in the defensive practices unfolding in controlled communities, which determines the problem of the legitimacy of the state government system. The object of political fear is the threat of systematic violence arising from a depersonalized power structure that is alienated from its social source, which complicates its stable reproduction and functioning.

Technocratic power declares its value security in the administration of the life world of individuals who are increasingly becoming depoliticized objects of colonization by the state using biopolitical methods of management. The author concludes that the alienation of power and the accompanying fear are due to contradictions between political goals aimed at social well-being and civil equality, and technocratic means, which are locked on their own criteria of effectiveness.

Ключевые слова: *безопасность, власть, технократия, биополитика, культура страха, политика страха, пандемия, общество риска, политический страх, насилие, эффективность.*

Keywords: *security, power, technocracy, biopolitics, culture of fear, politics of fear, pandemic, risk society, political fear, violence, efficiency.*

Введение. В современном мире реальные и потенциальные угрозы принимают «пандемический» характер воздействия на государства и общества. Растущая пропасть между повседневным опытом и переизбытком противоречивой информации разрывает устойчивые картины мира, который предстает в облике безличной и враждебной силы, проникающей в повседневную жизнь. В результате возникает массовая тревога перед чужеродностью происходящих перемен, которые переживаются в обществе в виде неуловимой экзистенциальной угрозы, порождающей «катастрофическое сознание» [11].

Предполагается, что страхи задают общий горизонт понимания в ситуации нехватки объяснительных ресурсов, редуцируя сложность и неопределенность к простым категориальным схемам [8]. К таким формам

страха относятся различные способы реагирования — от слухов до массовых «моральных паник» и конспирологических теорий [23; 24]. Они выражают фундаментальное беспокойство и являются языком недоверия к быстро меняющейся реальности, несмотря на деятельность государственных экспертных институтов, транслирующих официальную точку зрения. На языке конспирологии сообщества оформляют свои страхи в устрашающие образы коллективного воображаемого (см. прим. 1). В условиях глобальных цифровых коммуникаций социальные страхи и настроения продуцируют волны фейковой информации, что означает не только гипертрофированный рост несанкционированной информации, но и смешение официальной экспертной информации и стигматизированной неомифологии. При этом возникающие волны социального страха имеют свою цикличность: от тревожных слухов к медиа-вирусам, от панических реакций к массовым протестам.

Проблема глобальных рисков, получающих репрезентацию в коллективных формах страха, выявляет степень адекватности управленческих решений, возникающих в политических системах современных государств. Вводя чрезвычайные меры на своих территориях, разбалансированные стратегической неопределенностью, государства пытаются перезагрузить свои политики ради жизнеспособности системы управления социально-экономическими процессами. Для осуществления властных полномочий такая система должна редуцировать сложность процессов к управляемым и прогнозируемым статистическим абстракциям — «экономический рост», «население» или «электорат». Кризисы последних лет показали, что внестатистические события, связанные с непредсказуемостью и неопределенностью, взрывают «чувство нормальности», гарантом которого являются государства, что снижает уровень социального порядка. Следствием этого оказывается, что такие абстракции не работают, прогнозы оказываются неточными, сообщества дезориентированы в ситуации постправды, а то, что считалось прозрачным (границы, информация, знания) становится закрытым и двусмысленным.

Административные системы отвечают на взрыв рискогенной неопределенности стратегиями безопасности: прогностические и контролирующие функции в отношении к будущему соседствуют с усилиями по нейтрализации нестабильности в отношении к настоящему (мониторинг и контроль как формы безопасности). Таким образом, кризис политического доверия (см. прим. 2) к власти запускает механизмы реформирования нормальности либо в сторону архаической позиции по отношению к современности (политика популизма), либо в сторону технократических приемов (футуристическое ускорение изменений). Впрочем, по-

пулистский дискурс сам по себе является технологией управляемой реальности в условиях социальных трансформаций [14].

Соответственно, целью исследования является определение и анализ трансформации властных технологий в контексте политик безопасности и страха, получивших ускорение с появлением коронавирусной пандемии 2020–2021 гг. Гипотезой выступит следующий тезис: в условиях кризиса доверия к институтам власти система социального управления эволюционирует от политической формы организации власти, функционирующей в публичном пространстве различных интересов, идей и ценностей, к технократическому способу управления обществом, основанному на экспертной научно-технической системе технологического регулирования социальных проблем. Указанный процесс сопровождается как техниками управления страхом сверху, так и защитными практиками страха снизу, что характерно для иерархических структур этатистского типа с централизованным управлением и концентрированным аппаратом насилия. Таким образом, деполитизированные сообщества все более становятся объектам колонизации со стороны государства безопасности, использующего биополитические методы управления.

Тематизация феномена страха в контексте общества риска. Современная социально-экономическая система капитализма претерпевает кризисные трансформации с непредвиденными последствиями. Получивший широкое распространение после глобальной рецессии 2007–2008 гг. термин «новая нормальность» (“New Normal”) характеризует текущее состояние общества в ситуации нестабильности, становящейся нормой, и неопределенности, входящей в повседневную жизнь. Опыт пандемии показал, что экстраполяция происходящих перемен вряд ли может выходить за границы ближайшего будущего, в отношении которого принимаемые решения носят социально значимые последствия. Под угрозой оказались не только стабильность экономических моделей и социальных систем, но и комфорт, доходы, здоровье и жизнь огромного количества людей.

По отношению к неблагоприятным событиям риск выступает как известная вероятность в отличие от неопределенности (неизвестной вероятности) [26], охватывающей вариативный диапазон сценарных прогнозов. В процессах прогнозирования и управления риск используется как количественная мера опасности по степени ее вероятности. Опасность воспринимается по репрезентации риска в сознании экспертов и управленцев, это переменная величина, учитываемая при принятии политических решений. Н. Луман разделял источники опасности и риска: угроза, исходящая извне, из окружающего мира, относится к природной опас-

ности; угроза, возникающая как следствие социальных решений, относится к риску, имеющему антропогенное происхождение [12].

Согласно У. Беку, не проводившему четкой дихотомии между риском и опасностью, объединяющей и движущей силой общества позднего модерна становится страх, связанный с невозможностью воспринять и устрани́ть тотальное присутствие опасности, порождаемой техногенной цивилизацией. Такую ситуацию он называл обществом риска. Бек объясняет это тем, что в обществах модерна «производство богатств» сопровождается «производством рисков» [3, 21]. В отличие от классического индустриального общества, в котором нормативным идеалом было равенство, в обществе риска нормативным принципом выступает безопасность: «место общности нужды занимает общность страха» [3, 60]. Э. Гидденс пишет об «институционализированной среде риска» как конфигурации сложных систем, в основе которых находится рефлексивная оценка и мобилизация риска по отношению к возможному будущему. Иными словами, осознание и распределение рисков во времени не уменьшает их неопределенность, а встраивает в структуру повседневной жизни, в которой никто не может чувствовать себя в «онтологической безопасности» в условиях, когда человек вынужден доверять неподконтрольным ему абстрактным системам (финансовые рынки, здравоохранение и др.) [6]. Таким образом, безопасность становится ценностью и ориентиром для управления обществом, а страх — индикатором потенциальных угроз.

Понятие страха кажется самоочевидным, но при этом остается многогранным, что затрудняет его определение и анализ. Интегрирующим признаком страха можно считать эмоциональное состояние, вызываемое переживанием реальной или воображаемой угрожающей ситуации. В структуре страха, соответственно, выделяются пугающая ситуация, объект угрозы, эмоциональное переживание, оценка опасности и поведенческая реакция. Интенциональность страха указывает не на опыт настоящего, а на проецирование негативного переживания страха в будущее.

В эволюционном смысле страх является универсальной адаптивной функцией для выживания организма в меняющихся условиях среды. Страх сигнализирует об опасности и выступает триггером, мобилизующим ресурсы организма для избегания потенциальной угрозы жизни. У человека страх обусловлен не только генетическими и физиологическими механизмами, но и культурно-историческими условиями его существования. Страх находится на пересечении физических (эмоции) и ментальных (чувства) процессов, включает как внутренние состояния (переживания), так и внешние формы выражения (поведение) [17, 39-84]. Тем самым страх в человеческой культуре имеет сложную композицию по проявлению, мо-

дусам, динамике и последствиям. Продуктивным представляется привести классификацию страха с тем, чтобы посредством концептуализации данного феномена выделить актуальный для данного исследования политический аспект страха.

Внешний и внутренний страх. Данное деление основано на локализации угроз по их происхождению. Согласно понятию онтологической дифференциации, разработанной М. Хайдеггером, существует различие плана бытия и плана сущего, которое можно соотнести с разделением на внутренний и внешний страх, соответственно. Онтический план (сущее) отсылает ко всему тому, что является внешним миром с его явными и неявными угрозами, необязательно воспринимаемыми и осознаваемыми непосредственно. Соответствующий ему страх проявляется в контексте повседневных и научных знаний, с помощью которых можно определять и контролировать угрозы, вызывающие такой страх, который локализуется как реакция на внешнюю для человека опасность (имуществу, статусу, здоровью, жизни).

Онтологический план (бытие) относится к опасностям, исходящим от самого человека, которые не тематизируются в образах конкретных угроз. Этот внутренний страх открывает экзистенциальное состояние человеческого сознания, которое порождает свои собственные феномены свободы, одиночества, конечности и осмысленности каждого отдельного человеческого существования. Таким образом, если внешний страх касается всех и каждого по общности опасности, то внутренний страх отсылает к индивидуальному бытию как уникальному опыту переживания онтологических угроз.

Биологический, социальный и экзистенциальный страх. Эта типология основана на делении по объекту предполагаемых угроз. Биологический страх относится к самому древнему и универсальному в эволюционном отношении типу страха, имеет инстинктивную природу и нейрофизиологическое проявление, включая соматические симптомы и биохимические механизмы реагирования. Объектом биологического страха являются физические события во внешнем мире, которые непосредственно угрожают (или воспринимаются как угроза) целостности организма.

Социальный страх также имеет внешнее происхождение, но появляется в процессе социальной коммуникации, т.е. такой страх культурно обусловлен и проявляется в специфических исторических формах. Являясь производным от системы общественных отношений, социальный страх отражает восприятие и оценку человеком своего положения в обществе, характеризует отношение людей друг к другу, структурирует социально-типическую ориентацию по отношению к явлениям и процес-

сам, происходящим в обществе. Данный страх обладает как конституирующим характером, призванным поддерживать социальный порядок (например, страх отвержения), так и деструктивным проявлением, возникающим при деформации социальной структуры и ожидании возможного ухудшения жизненных интересов и потребностей [2, 43-46]. Крайним случаем этой тенденции является массовый социальный страх перед катастрофически переживаемыми угрозами. Следовательно, объектом социального страха выступает сама система общественных отношений, которая может нести угрозу статусным притязаниям индивидов и групп.

Наконец, экзистенциальный страх имеет своим источником внутренние конфликты личности, переживаемые как проблема выбора жизненных целей, ценностей и ресурсов безопасности в непредсказуемом и нестабильном мире, находящемся в условиях постоянной трансформации и подверженном рискам модернизации. Ситуацией страха здесь является состояние фундаментальной неопределенности человеческого существования, когда под угрозой оказывается смысловое содержание и устойчивая перспектива жизни, ответственность за которую несет каждый человек в качестве своей личной заботы (см. прим. 3).

Итак, приведенная онтология страха описывает человека, переживающего угрозы своей телесной организации (биологический аспект), структуре своих общественных отношений (социальный аспект) и субъективности своего бытия (экзистенциальный аспект). Как можно заметить из приведенного анализа, первые два аспекта относятся к внешнему страху, тогда как последнее измерение страха – к внутреннему опыту существования в мире. Однако ни биологический, ни социальный, ни экзистенциальный типы человеческих страхов не объясняют полностью поведение людей при отношениях, связанных с осуществлением власти.

Политический страх. Между политикой и культурой страха. В политической области страх имеет иное значение, нежели в описанных выше типах страха, поскольку здесь существуют специфические формы конфликтов, в контексте которых общественные практики выстраиваются вокруг борьбы за доминирование между разными политическими субъектами. Борьба за доминирование принимает вид либо поддержания существующего социального порядка, либо его изменения путем трансформации структуры власти между управляющими и управляемыми.

С точки зрения действующего порядка основанием для власти выступает легитимность политической системы, с точки зрения альтернативных проектов власти, которые могут сформироваться в новую политическую субъектность, основой является падение доверия к системе управления, а триггером – неудовлетворенные потребности в результате

общественных противоречий. Ресурсом и механизмом действий, а также их симптомом, в обоих случаях является страх, однако его источники и содержание имеют различный характер.

Представление о страхе как инструменте политического управления появилось и сформировалось в раннее Новое время. Т. Гоббс формулирует концепцию государства, суверенность которого основывается на страхе, который выступает главным условием гражданского мира. В естественном состоянии люди испытывают взаимный страх, порождаемый опасностью для каждого подвергнуться насильственной смерти или лишиться имущества («война всех против всех»). В гражданском состоянии, возникающем вместе с государством, страх становится общим — не только перед возвращением анархии, но и перед сувереном, который принудительно гарантируют безопасность совместной жизни. В гипотетической конструкции государственного устройства Гоббса иррациональный страх естественного состояния не исчезает полностью, а заменяется страхом как рациональным чувством (благоразумием), обладающим дисциплинирующим характером для всех и каждого. Страх становится морально-политическим этосом новоевропейского государства, поскольку вместе с устранением страха перед властью исчезает и само государство [7; 18].

Согласно парадоксальным выводам К. Робина, образ политического страха постоянно раздваивается на тот страх, от которого пытаются избавиться, и на тот, с помощью которого стараются избавиться от первого. Разбирая политические доктрины Т. Гоббса, Ш. Монтескье, А. Токвиля, Х. Арендт, Робин констатирует эту двойственность. У Гоббса избавление от страха естественного состояния становится средством для создания государства Левиафана, использующего этот страх для своего правления. Монтескье предлагает для устранения ужаса деспотического террора либеральную программу, которая получает привлекательность как отрицание этого самого террора, страха перед ним. Токвиль пишет о демократии как тирании большинства, подавляющей личность под страхом изоляции, и выстраивает свою концепцию плюрализма, отталкиваясь от созданного им пугающего образа, опять же с помощью страха. Для Арендт тревожность массового общества вела к созданию тоталитаризма, репрессивное правление которого является способом снижения тревоги потерянного человека индустриальной эпохи, а неприятие тотального террора, сеющего страх, разворачивалось в идею свободного демократического общества. Во всех перечисленных случаях страх выступает негативным основанием политики, при этом само это основание возникает из неполитических источников: в области природы, психологии и культуры, т. е. страх и тревога ориентированы на насилие и отчуждение, а не на мораль и идеологию [15].

В конце 1980-х гг. Дж. Шкляр выдвинула концепцию «либерализма страха», утверждая, что страх, в отличие от традиционных идеологий, обладает лучшей объединяющей силой, которая может установить согласие между различными группами в борьбе против террора и насилия. Поскольку страх является универсальной реакцией на угрозу насилия, его моральное неприятие становится очевидным и понятным для всех [31, 30]. Здесь автор повторяет идейный поворот Гоббса, согласно которому целью государства является не столько достижение высшего блага (*summum bonum*), что характеризовало античную политическую теорию, сколько минимизация худшего (*summum malum*). Страх является величайшим злом человечества, но именно благодаря его мобилизующей силе он может рассматриваться в качестве основания политической жизни, напоминая об опасности утраты демократической свободы.

К. Робин призывает вернуть рассмотрение страха в политическое измерение. Отделение страха от его политического происхождения и использования в политических целях скрывает, что страх применяется как идеологический способ доминирования и подавления альтернативных образов реальности. Выявляя и описывая аполитические угрозы и возбуждаемые ими аполитические страхи, система власти апеллирует к чувству единства, которое является прикрытием для общественных противоречий, основанных на репрессивном характере иерархических структур, порождающих неравный доступ к материальным и информационным ресурсам. Принимая страх как возможность национального (экономического, культурного и т.д.) обновления, напуганное общество воспроизводит формы страха, ограничивающие стремления и действия людей.

Под политическим страхом Робин понимает «переживание людьми возможности определенного ущерба их коллективному благополучию — боязнь терроризма, паника в результате роста преступности, тревога из-за упадка нравственности — или же запугивание людей властями либо отдельными группами. Что же превращает оба типа страха скорее в политический, чем в индивидуальный страх? То, что они зарождаются в обществе либо несут общественные последствия» [15, 10]. Из этого определения можно выделить несколько его существенных свойств: угрозы несут общественные последствия, страх может инициироваться как государством, так и спонтанно порождаться в обществе. Однако здесь не сказано о главном: политический страх возникает в контексте властных отношений, структура господства и подчинения. В отличие от социального страха политический страх указывает не просто на беспокойство перед угрозой групповым интересам в системе общественных отношений. Страх определяет условия для воспроизводства существующего социального и сим-

волического порядка, усиливая властную способность управлять и подавлять противодействие управлению, а значит, связан с угрозой применения насилия. Кроме того, страх формирует протестные переживания и практики в условиях кризиса доверия к способности власти адекватно осуществлять свои полномочия и также выражает опасения относительно возможного насилия. Иными словами, со стороны государства мы видим появление такого режима, как политика страха, а со стороны сообщества, становящегося все менее устойчивым объектом управления, – возникновение культуры страха.

Таким образом, *объектом политического страха является угроза применения насилия, но не эпизодического субъективного насилия (криминального или террористического), а систематического насилия, появляющегося из самой деперсонализированной структуры власти (коллективного Левиафана), которая отчуждается от своего общественного источника, что осложняет ее легитимное воспроизводство и функционирование.*

Политика страха. Если вторая половина XX в. прошла под знаком «общества риска», то в начале нового столетия политика страха, как в ее либеральной, так и консервативной версии, «вышла на новый уровень: манипулируя рисками <...> она полностью подчинила сферу социального воображаемого с его приоритетом визуальных образов вместо логоцентризма модерна» [5, 268]. Политика страха выражает новую модель социального управления, создавая рамки для социального воображения граждан, совпадающие с границами общества и поддерживаемые на уровне эмоций [32, 9]. Новый режим управления определяет характер политических действий, легитимируемых постоянным обращением к образам угроз и опасностей. Страх в политике ведет к политическим решениям ограничительного или запретительного характера, ориентированным на безопасность общественной сферы как главной своей цели.

Как пишут П. Дуткевич и Д.Б. Казаринова, страх из инструмента переходит в сущность политики. Политика страха как традиционная политическая стратегия трансформируется в страх как самостоятельную политику, что меняет конфигурацию власти [9, 9]. Причинами отождествления политики и страха выступают три группы процессов. 1) Страх становится ведущим мотивом институциональных изменений существующего порядка. 2) Страх выступает основой новой легитимации действиям власти. 3) Страх воплощается в форме универсальной сверхидеологии. Среди факторов, определяющих эти процессы, оказываются недоверие к рынку и государству, размежевание власти и политики, возрастающее влияние социально-экономического неравенства, создающее повсеместное распространение страха. Растущий разрыв власти от политики

конституируется несоответствием инструментов управления и встающих перед государством задач. Результатом становится то, что власть остается без политических решений, заменяя их системой администрирования, оставленной без политического контроля, а политическая сфера лишается субъектной способности принимать решения [9, 10-15]. Как следствие, растущее влияние страха переопределяет цели и методы современной политики.

Культура страха. Концепция культуры страха была разработана Ф. Фуреди и Б. Гласснером [27; 28], которые также отталкивались от теории «общества риска» У. Бека. Фуреди писал, что на пороге XXI в. культурное воображение западного общества стимулирует и формирует не надежда, а страх. Характерной чертой культуры страха является тревожные ожидания относительно того, что люди подвергаются постоянным атакам со стороны разрушительных сил, которые угрожают повседневному существованию. По его мнению, это связано с тем, что массовый страх превагирует над личным опытом людей, которые поддаются давлению страха под влиянием таких факторов, как распад социальных связей и «эрозии субъективности», нивелирующих значение собственной активности и возможность контролировать свою жизнь.

Одной из главных движущих сил культуры страха является ослабление морального авторитета социальных структур. Страх, по-видимому, обеспечивает временную компенсацию моральной неуверенности, и по этой причине его поддерживают самые разные интересы. При этом страх продолжает использоваться как рациональная стратегия управления: правящая элита и медиа транслируют образы страха для мобилизации населения, а общество сопротивляется официальному воздействию, обращаясь к различным практикам — от культурной традиции до конспирологии [25].

Таким образом, дискурс политического страха проявляется в двух взаимосвязанных формах: политике страха и культуре страха. Политика страха концептуализуется как технология власти, появляющаяся в ответ на кризис государственной легитимности и способности управлять, а культура страха — как защитные практики социума, связанные с недоверием к политическим системам и регулирующим их институтам. В обоих случаях объектом страха выступает угроза насилия, поскольку и политика страха, и культура страха функционируют в рамках осуществления государственной власти. Государство обладает монополией не только на применение физического насилия (М. Вебер), но и символического насилия (способности навязывать определенное видение мира), однако в постидеологическом обществе бюрократическая структура не обладает полной символической властью. Здесь действует конфликт между группами за

способность конструировать альтернативные системы социальных смыслов и значений [4, 83]. Поэтому политический страх становится возможным ввиду существования структур насилия, его объектом является опасность как физического принуждения, так и ментального подавления, риски которой каждый раз оцениваются заново. Если государство определяет какое-либо явление в социальной реальности как опасное (например, терроризм), то страх перед такой угрозой в конечном счете будет отсылать к структурному насилию, направленному против тех, кто станет претендовать на иную модель интерпретации. Если общество напугано какой-либо опасностью, проистекающей от недоверия к системе государственного управления (например, в случае с вакцинацией), то соответствующий страх будет питаться угрозой произвольного использования насилия в условиях несогласия с административными правилами, воспринимаемыми как репрессивные.

Страх, безопасность и технократическая власть. Безопасность в современных политиках оказывается своеобразным приемом, позволяющим обеспечивать связь между властью и практиками «нормального поведения». Если активность государственных институтов постоянно сосредоточена на поиске угроз, которые потенциально присутствуют на горизонте общественной жизни в виде рисков, то это приводит к секьюритизации общественных отношений. Однако усиление дискурса безопасности влечет за собой новый рост общественного страха, который апеллирует к еще большим мерам безопасности, запуская новые циклы страха и безопасности, поскольку государству приходится легитимировать свои действия, ссылаясь на опасность того, что порождает страх. Борьба со страхом (угрозой опасности) порождает еще больший страх вследствие утверждения, что все находятся в опасности. Так борьба с причинами страха только усиливает страх в обществе, а защита от опасности оценивается степенью вызываемого страха.

Секьюритизация означает дискурсивную практику, которая инсценирует какой-либо объект в качестве угрозы и требует одобрения чрезвычайных мер по ликвидации этой угрозы «помимо правил, которые в противном случае были бы обязательными» [30, 5]. Дискурс безопасности позволяет транслировать обществу необходимость вмешательства и дополнительных форм контроля во имя сохранения здоровья, жизни, ценностей и т. д. Это превращает любую политическую проблему в проблему безопасности, которую можно решать неполитическими средствами, переводя процесс политического управления к управлению чувством небезопасности, а значит – страхом. В соответствии с вышеназванной корреляцией между политикой и культурой страха источниками секьюритиза-

ции выступают усиливающие друг друга административный дискурс (агент – бюрократия), экспертный дискурс (агент – экспертократия), дискурс СМИ (агент – медиакратия) и резонирующие с ними социальные страхи (агент – различные социальные группы) [13]. Все это приводит к гибридации экономического, политического и медицинского дискурсов, объединяемых в биополитическую практику технократического управления, в которой идея социальной справедливости трансформируется в идею коллективной безопасности.

Такой поворот связан с историей европейского Нового времени, когда движущей силой современности, согласно М. Веберу, стала нарастающая рационализация социального мира, как в экономическом производстве, так и в государственном управлении. Рационализация управления включает упорядочивание и регламентацию всех сторон жизни, проникновение правил и предписаний в повседневную деятельность, что ознаменовало появление бюрократического нормативно-правового устройства власти в современных западных обществах. Следующим шагом к повышению рациональной эффективности управления стала технократическая концепция общества (Дж. Бернхем, П. Друкер, Дж. Гэлбрейт, М. Дюверже), которая предлагала новый тип организации государственного управления.

Понятие технократии используется как минимум в трех широко употребляющихся значениях: 1) теоретическая концепция власти, которая для своего функционирования использует научно-технические знания, а не идеологию; 2) тип социально-политического устройства общества, практически реализующий принципы этой концепции; 3) социальная группа научно-технических экспертов, участвующих в управлении. Иначе говоря, технократия – это такой принцип и практика управления, которые предполагают, что политические решения в общественной жизни являются настолько сложным вопросом, что их должны принимать компетентные специалисты. Идея заключается в том, что управлять обществом можно без политических институтов публичного участия и принятия решений.

Меняется сущность и функция власти: если для политической власти основанием социальной стабильности является различным образом понимаемый принцип равенства, то для технократии критерием оценки управленческих действий становится эффективность, а конечной целью – регулирование безопасности, которую можно понимать как тотальную заботу об индивидах с помощью технологических решений. За ориентацией на безопасность стоит технократическое понимание политики, следовательно, теряется политический характер общественных отношений, которые возможны, пока существует публичная политическая сфера (см. прим. 4).

Технократия переносит цель на средства, не отделяя выработку политических решений, сосредоточенных на общественных проблемах, от их инструментальной реализации. Условия и пределы политического обсуждения ограничиваются доступными вариантами, сформулированными технической экспертизой, в рамках технократически ограниченной рациональности. При таком способе управления политическое обсуждение заменяется экспертизой, а общественный контроль – статистической отчетностью. Кроме того, технократическая политика, обосновывающая свои действия указанием на объективность экспертных знаний, обесценивает «не поддающиеся количественной оценке и субъективные аспекты опыта» [29, 177].

Рационально устроенное технократическое управление, доведенное до своего регуляторного предела, а именно в отношении проблемы самой жизни, получает выражение в виде биополитической практики. Объектом биополитики выступает не отдельные тела индивидов, а население в целом в соответствии с их жизненными функциями (здоровье и условия жизни). То есть теперь власть преобразует не индивида, а те процессы, которые воздействуют на жизнедеятельность индивида.

Согласно М. Фуко, западному миру присущи три исторических режима политической власти: *суверенная власть*, направленная на тела индивидов как статусно-функциональные единицы, *дисциплинарная власть*, ориентированная на нормализацию тел в их трудовом измерении, и *био-власть*, регулирующая все жизненные проявления индивидов. Новизна биовласти, согласно Фуко, заключается в том, что она позволяет умереть, но заставляет жить [19], при этом современный человек – «животное, в политике которого его жизнь как живущего существа ставится под вопрос» [20, 248]. Режим биовласти становится такой социальной технологией, рационализация которой происходит за счет управления жизненным миром индивидов, уже не столько как политических граждан или экономических агентов, сколько как объектов витальной калькуляции, при которой население получает качество демографического ресурса (человеческого капитала), охраняемого государством.

Фуко считал, что биополитика исторически появляется вместе с либерализмом – политэкономической теорией, которая в своей управленческой практике определяется только критериями рыночной экономики, которую сама же и регулирует. Управляя интересами индивидов, либерализм в то же время манипулирует опасностями, которым постоянно подвергается или может подвергнуться общество. Следствием либерального режима управления являются появление культуры страха и системы контроля, баланса свободы и безопасности, что позволяет власти посто-

янно манипулировать, регулируя интересы индивидов, деятельность которых проходит под девизом «жить опасно» [21, 90]. В конечном счете от опасностей призвана защищать биополитика, которая выстраивает управленческую архитектуру опасности.

Дж. Агамбен развивает эту линию мысли, утверждая, что биополитической парадигмой современности является уже не дисциплинарная тюрьма, а концлагерь, логика которого раскрывает новое пространство исключения из нормальной жизни [1, 28-29]. Чрезвычайная практика исключения индивидов приводит к смещению и неразличению *zoe* («голой жизни») и *bios* («политической жизни»). Голая жизнь указывает только на сам факт жизни, фактичность индивидов как биологических существ, которые могут существовать в политике (преимущественный способ бытия человеческих сообществ) только в форме включающего исключения, т.е. жизнь может получить политическое определение, только перестав быть политически значимой, например, становясь медицинской проблемой. Таким образом, биополитический номос организует повседневную жизнь, не отличимую от чрезвычайного положения, когда забота о жизни индивидов делегируется технократическим системам контроля и управления (подобно тому, как делегировались политические голоса избирателей).

Биополитика становится не просто постполитической практикой управления, которая преодолела идеологическую борьбу и сосредоточилась на экспертном управлении и эффективном администрировании благополучия общества. Биополитика — это и есть выражение политики страха, который выступает основным мобилизирующим ресурсом управления жизнью [10, 36]. Если традиционная идеология была направлена на послушание умов, то биополитика имеет своей целью контроль над жизнью, которая объявляется главным объектом безопасности.

Поскольку биополитика — технократический способ управления, то для своего функционирования такая структура власти использует доказательную политику (*evidence-based policy*), которая опирается на научные данные и экспертное мнение при принятии решений в государственном управлении по аналогии с доказательной медициной. Решения должны рассматриваться на основе обработки и анализа больших данных (*data-driven governance*) [33], расчеты и моделирование с помощью цифровых технологий обеспечивают количественные характеристики и прогнозируют последствия администрирования общественных отношений. Тем самым эта практика выступает еще одним примером слияния экономики, медицины и политики в обыденной жизни, а техники государственного управления становятся неотличимы от корпоративных стандартов.

Такое слияние получило название «нового государственного менеджмента» (“New Public Management”), концепция которого была сформирована в 80-90-е гг. XX в. Его основой стали эффективность и результативность при производстве и предоставлении общественно значимых услуг для населения, что подталкивает к формированию сервисной модели государства, осуществляющего свою социальную функцию по типу автоматизированных бизнес-процессов. Все перечисленное позволяет говорить о том, что индивиды сталкиваются с обезличенной дистанционной формой взаимодействия со структурой власти, использующей упрощенные статистические модели при управлении обществом.

Таким образом, политическая власть в биополитических обществах приобретает черты корпоративной власти. Без понимания биополитической рациональности и ее методов было бы трудно объяснить, как индивиды добровольно участвуют в глубоком контроле и медиализации своей жизни, которая характеризует современные общества и их специфические формы насилия. Привлекательность этого режима власти оценивается на том основании, что биополитические методы, используя самые передовые с научной точки зрения средства (например, биометрические системы идентификации и доступа к услугам), нацелены на то, чтобы сделать жизнь людей как можно более долгой и благополучной. Для политических решений или дебатов не остается места, если цели биовласти декларируются как благо, а ее средства основаны на научных данных. Эффективность биовласти заключается в том, что она явно постулирует ценность каждой индивидуальной жизни и основывает свои требования к управляемым обществам на научной истине и целях благополучия и заботы о населении.

Технократический контроль компенсирует недостатки регулирования социальными процессами усилением вмешательства в биологические аспекты повседневной активности людей. Согласно такому пониманию индивиды опасно иррациональны в своем поведении и нуждаются в защите не только от внешних опасностей, но и от самих себя. Как показала пандемия COVID-19, сообщества по всему миру являются одновременно и объектами, представляющими угрозу безопасности, и субъектами, подлежащими защите. Поскольку к вирусу нельзя применить правовую санкцию, а человеческие тела являются носителями вирусов, следовательно, они представляют угрозу самим себе фактом своей жизнедеятельности, а значит, опасны и для биовласти, которая вырастает из существования голдой жизни. Пандемия обнажила, как натурализируется содержание страха, который отсылает не к политическому объекту, вызывающему разногласия и столкновение интересов (групповых, национальных или корпоративных), а к природному объекту — вирусу, борьба с которым становит-

ся основой для объединения в биомедицинской солидарности. Вирус в этом дискурсе несет не политическую, а биологическую идею аполитического взаимодействия субъектов и объектов власти.

Биополитическая секьюритизация показала свою парадоксальную природу, незамеченную М. Фуко и Дж. Агамбенем. Вводя карантинные ограничения и контроль за социальным дистанцированием, государственные институты принуждения, по сути, реагировали на волны социального страха, провоцирующего авторитарные решения, в то время как медиа призывали к усилению регулятивного контроля и расширению более активного государственного вмешательства. Взаимное влияние друг на друга политики страха и социального беспокойства обеспечивают переход к симбиотической форме «антропоцентрического авторитаризма», который усиливает кризис разграничения между сферой политикой и сферой жизни. Проблема этого различия уходит из общественного обсуждения в закрытое техническое администрирование; это сказывается на том, что мир современной политики не способен рационализировать или легитимировать власть [22]. Лишенные не только социального контакта, но и дискуссионного взаимодействия со структурами управления, сообщества отвечают на новые формы биополитического насилия антикарантинными актами сопротивления, что еще больше обостряет кризис современной системы власти.

Заключение. Современные общества переживают волны массового страха различной этиологии (биологические, социальные и экзистенциальные страхи), которые прокатываются поверх государственных границ и распространяются в глобальном масштабе.

Однако существует и постоянный источник страха, который (с различной интенсивностью) присутствует в повседневной жизни и на первый взгляд имеет неполитическое происхождение, поскольку связь между его феноменологией и его онтологией, явлением и существованием, неочевидна. Этот страх вырастает из структур насилия, которые воспроизводятся при осуществлении политической власти государства, хотя он может восприниматься и оцениваться при переживании угроз, которые репрезентируются в качестве не политических, а техногенных, природных или социальных явлений и процессов. Такое структурное насилие, в отличие от субъективного (несанкционированного) насилия, не связанного с отношениями власти и управления, носит глубинный характер и направлено как на социальное поведение, так и на социальное воображение управляемого сообщества, чтобы обеспечивать и поддерживать предсказуемость и стабильность общественной системы.

Насилие является исторически традиционным средством осуществления власти, которая присваивает себе право на его применение, а безопас-

ность общественных отношений — одной из главных функций государства. Тем не менее на протяжении последних десятилетий, вопросы безопасности переходят в инструментальный арсенал власти, т.е. становятся средством. Этот переход связан с трансформацией власти как социального института — от политической формы организации общества к технократической форме управленческих практик. Технократическая политика, понимаемая в узком смысле как программируемый набор административных решений, основана не на политическом участии и обсуждении, а на экспертном (преимущественно инженерно-экономическом) регулировании общественных проблем по типу корпоративного менеджмента. Поэтому действенность технократии проистекает из вопроса эффективности управления, который затемняет вопрос легитимности такой власти.

Главным способом действия технократической власти на сегодня является биополитика, которая подчиняет все социальные и экономические вопросы идее заботы о жизни, сведению общественной динамики к жизненным процессам как своей основной цели. Таким образом, технократическая биовласть объявляет своими ценностями эффективность и безопасность при администрировании жизненного мира индивидов, которые взаимодействуют с властью с помощью автоматизированных сервисных систем, что, как декларируется, устраняет человеческий фактор в качестве управленческих рисков. Между тем одним из следствий сервисного государства безопасности становится исчезновение политического, поскольку политика, понимаемая в широком смысле как осуществление публично-общественной власти, существует как своего рода сверхнормативное общение для решения общественных проблем на пути к общему благу.

Следовательно, в современной общественной жизни присутствует противоречия между ценностями «справедливости» и «эффективности»: первая является политической целью (одновременно и нормативным принципом), а вторая инструментальным (зачастую количественным) критерием достижения целей. Иными словами, проблема заключается в том, что разрыв между принятием властных решений и осуществлением этих решений оборачивается тем, что второе поглощает первое. Однако средства не могут существовать отдельно от целей, потому что имеют тенденцию замыкаться на собственных показателях и превращаться в формальные индексы в отрыве от реальности.

Наконец, рассмотренная метаморфоза власти, сопровождаемая появлением биополитических структур насилия, влияет на распространение политического страха, пульсирующего между технократическим дискурсом безопасности и практиками общественного недоверия, ведет к социальной нестабильности и провоцирует новые эффекты насилия. Потенци-

альным выходом из порочного круга страха и насилия может стать расширение публичного диалога между общественными группами, экспертами и институтами власти вне логики корпоративного мышления и управления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011. — 251 с.
2. Баринов Д.Н. Страх как социальный феномен [Электронный ресурс] // Гуманитарный научный вестник. 2019. № 2. — С. 39-48. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1902Barinov.pdf> (дата обращения: 12.07.2021).
3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. — 384 с.
4. Бурдые П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдые П. Социология социального пространства. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. — С. 64-87.
5. Воробьева О. В., Николаи Ф. В. Культурная история страха: эмоции, аффекты и дискурсы безопасности // Диалог со временем. 2017. Вып. 61. — С. 262-272.
6. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. Вып. 5. — С. 107-134.
7. Гоббс Т. Левиафан. — М.: Мысль, 2001. — 478 с.
8. Гудков Л. Страх как рамка понимания происходящего // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1999. № 6. — С. 46-53.
9. Дуткевич П., Казаринова Д.Б. Страх как политика // Полис. Политические исследования. — 2017. — № 4. — С. 8-21.
10. Жижек С. О Насилии. — М.: Европа, 2010. — 184 с.
11. Катастрофическое сознание в современном мире в конце XX века (по материалам международных исследований) / Под ред. В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина, В.А. Ядова. — М.: Первый печ. двор, 1999. — 346 с.
12. Луман Н. Понятие риска // THESIS. 1994. Вып. 5. — С. 135-160.
13. Малахов В.С. Техника безопасности: политика страха как инструмент управления // Отечественные записки. — 2013. — №2 (53). — С. 150-163.
14. Политика постправды» и популизм / под ред. О. В. Поповой. — СПб.: Скифия-принт, 2018. — 216 с.
15. Робин К. Страх. История политической идеи. — М.: Территория будущего, Прогресс-Традиция, 2007. — 368 с.
16. Розанваллон П. Контрдемократия: политика в эпоху недоверия // Неприкосновенный запас. 2012. №4 (84). — С. 11-30.
17. Свендсен Л. Философия страха. — М.: Прогресс-Традиция, 2010. — 288 с.
18. Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. — М.: Госполитиздат, 1957. — С. 285-382.
19. Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975-1976 учебном году. — СПб.: Наука, 2005. — 312 с.
20. Фуко М. Право на смерть и власть над жизнью // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. — М.: Касталь, 1996. — С. 238-269.
21. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году. — СПб.: Наука, 2010. — 448 с.
22. Чэндлер Д. Биополитика и подъем «антропоцентрического авторитаризма» [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2020. №3. Май/Июнь. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/biopolitika-avtoritarizma/> (дата обращения: 10.06.2020).
23. Bourke J. *Fear: A Cultural History*. Emeryville: Virago, 2006. 500 p.
24. Cohen, S. *Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers*. London-New York, Routledge, 2002. 282 p.

25. *Cultures of Fear: A Critical Reader* / Ed. by U. Linke, D.T. Smith. L., N.Y.: Pluto Press, 2009. 345 p.
26. Ellsberg D. *Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms* // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 75, Issue 4, November 1961, Pp. 643-669. DOI: <https://doi.org/10.2307/1884324>.
27. Furedi F. *Culture of Fear: Risk-Taking and the Morality of Low Expectation*. London, England / Herndon, VA: Cassell, 1997. 184 p.
28. Glassner B. *The Culture of Fear. Why Americans are Afraid of the Wrong Things*. Basic Books, New York, 1999. 282 p.
29. Olson R.G. *Scientism and Technocracy in the Twentieth Century: The Legacy of Scientific Management*. Lanham, Md.: Lexington Books, 2016. 207 p.
30. *Security: A New Framework for Analysis* / By Barry Buzan, Ole Weaver, and Jaap de Wilde. Lynne Rienner Publishers, 1998. 239 p.
31. Shklar J. "The Liberalism of Fear" // Liberalism and the Moral Life / Ed. by Nancy Rosenblum. Cambridge: Harvard University Press, 1989. Pp. 21-38.
32. Skoll G.R. *Social Theory of Fear: Terror, Torture, and Death in a Post-Capitalist World*. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010. 234 p.
33. *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector* // OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>

Примечания

1. Для социальных изменений коллективное воображение ищет социальные причины. Например, учитывая, что пандемия коронавируса остается анонимным явлением в социальной перспективе восприятия, то субъектность, ответственную за происходящие общественные трансформации, приписывают неким индивидам, группам, международным организациям или государствам, которые считаются виновниками распространения или даже создателями вируса.
2. В этой связи обсуждается такое явление, как «общество недоверия», появлению которого способствуют три источника: скептическое отношение к научным экспертам, возможность экономического прогнозирования и снижение межличностного доверия в социуме. Все это приводит к общему политическому недоверию к политической власти, воплощаемой в государственных институтах. См.: [16].
3. Философия экзистенциализма выделяет два понятия *страха*: физический страх-боязнь (нем. Furcht) и экзистенциальный страх-тревогу (нем. Angst). Они по-разному переживаются, а главное — у них разная интерпретация угроз. Физический *страх* связан с условиями выживания организма, экзистенциальный — с условиями бытия. Физический *страх* в принципе понятен и выносим, хотя при панических атаках переживается катастрофически. Экзистенциальный страх указывает на кризисное состояние сознания, выявляя беспокойство перед небытием, концом существования. Тем не менее на эмпирическом уровне (в поведенческих науках) различие между страхом и тревогой остается размытым, а сами термины часто используются как синонимы.
4. Здесь следует разграничить понятия политической сферы общества (англ. politics) и политики (англ. policy). Первое указывает на то, как и в каких формах осуществляется политическая власть, второе — на конкретный курс или план управленческих действий, направленных на решение общественных проблем. В принципе *policy* может функционировать как самодостаточная административная практика и структура, без обращения к публично-общественному контексту *politics*. Тогда можно говорить, что *policy* поддерживает социальный порядок, тогда как *politics* его конституирует. При этом необходимо подчеркнуть, что рассматриваемое различие носит схематический характер и в чистом виде вряд ли может функционировать, поскольку формальное администрирование требует хотя бы минимального общественного допущения относительно легитимности такого порядка.

Поступила в редакцию 10.08.2021 г.